



Е. Е. КОЛОСОВ

<«...Он был положительно тем же Керенским, только с той разницей, что, обладая всеми его недостатками, он не имел ни одного из его достоинств»>

Колчаковский переворот совершился 18 ноября 1918 года. Момент для переворота был чрезвычайно благоприятный. Директория никаким серьезным авторитетом не пользовалась, и ее существованием в сущности мало кто интересовался. Сама она внутренне представлялась слабой и не чувствовала в себе силы для решительной борьбы, между тем весь ход событий заставлял ожидать резкого столкновения. Рабочие и профессиональные организации либо не существовали, либо замерли, погрузились, под влиянием начинавшегося террора, в полудремотное состояние. На крестьянство никто из переворотчиков не обращал внимания, — им заинтересовались значительно позднее. Что же касается обывателя и вообще всей той бесформенной массы населения, по преимуществу городского, мнение которого обычно принимается в цензовой прессе за голос народа, то оно было настроено глубоко аполитично и желало лишь одного, чтобы его оставили в покое. Жардецкий, коронный публицист сибирской реакции, так и писал в «Сибирской речи», что вернейшим союзником идеи диктатуры является полная апатия населения. Когда утром 18 ноября омский обыватель, проснувшись, узнал, что у него теперь новое правительство во главе с адмир. Колчаком, то он отнесся к этому скорее благожелательно, чем с неудовольствием. Да и у многих на душе стало как-то легче: по крайней мере теперь все ясно: диктатура, так диктатура.

Адмирала Колчака в Сибири мало знали, даже вовсе не знали, человек здесь он был новый, и когда этот новый и мало кому известный человек (а кроме того, известный некоторым цензовикам, как нежелательный кандидат) оказался верховным диктатором, отстранившим предполагавшегося ранее претендента, то он оказался в глазах наиболее посвященных как бы выскочкой, захватчиком...

Однако справиться с Колчаком оказалось не так легко, как наприм., с Директорией. За эти дни дом его усиленно охранялся, — что, конечно,

не удивительно, но замечательнее и удивительнее, кем именно охранялся. Охранялся он *английскими солдатами*, выкатившими прямо на улицу все свои пулеметы. Адмирал, очевидно, не желал отправляться в дальнее плавание и загородился штыковым барьером, пусть даже не своим, а чужим, — какая разница? Мы не знаем, что там происходило между этими матадорами сибирских цензовиков, но кончилось тем, что в своем приказе от 22 декабря, расклеенном на всех заборах, ген. Иванов-Ринов заявил, что он признает власть адмир. Колчака и не позволит никому ее свергать. А о том, что он сам только что готовился ее свергнуть, ген. Иванов-Ринов в своем приказе не обмолвливался ни словом. Но, признав власть адмир. Колчака, ген. Иванов-Ринов на этом одном не мог остановиться. Сибирские погромщики оказались готовыми вторично услужить адмиралу и вторично признать его власть, но вместе с тем в виде компенсации решили его, болтавшего там что-то о Национальном собрании (чуть что не Учредительном), помазать на царство кровью этих самых «учредильщиков», забросать его их трупами, сделать это его собственным именем в расчете, что он не посмеет отказаться от солидарности с ними, и все это свяжет его круговой кровавой порукой с порочнейшими из реакционных кругов¹. Это была попытка жестоко надругаться над счастливым противником, как только может надругаться ни с чем не примиримый сибирский погромщик, расвирепевший лавочник. Это была дьявольская, сатанинская программа, счет к уплате по векселю, выданному еще 18 ноября убийцам. Вексель был предъявлен, счет погашен, убийства, именем самого Колчака, совершились, а затем, чтобы скрыть истинных виновников и всю суть происшедшего, была пущена по всему свету лживая легенда о простом офицерском самосуде.

Адмир. Колчак покрыл погромщиков, устроивших беспримерную бойню в ночь с 22 на 23 декабря. Говорят, или, точнее, говорили тогда, что, узнав о расстрелах «учредиловцев», он бился в истерике. Это возможно. Этот диктатор обладал вообще темпераментом истерической женщины. Но, с истерикой или без истерики, факт остается фактом: покрыв погромщиков, зная несомненно как все было, значит покрыв их сознательно, а не по неведению, он затем силой вещей сделался их соучастником и верным слугой. И царству опричников, казалось, не будет конца и краю. То, что происходило дальше, и те результаты, к которым это приводило, я наблюдал уже не в Омске, — в Омске с тех пор при Колчаке я не был ни разу, а после Колчака этот город сделался моей тюрьмой, — а в Красноярске, Иркутске, Томске, на Алтае. Там передо мною прошла еще целая жизнь, временами даже более страшная и более драматичная, чем в эти ужасные дни омских переживаний. <...>

Кажется, совершенно излишне доказывать, что правительство Колчака для такой работы было, по меньшей мере, неспособно. Вообще, оно представляло из себя какое-то удивительное собрание людей безнадежно бездарных в государственном и политическом отношении. Менее же всего к роли государственного деятеля, да еще призванного править страной в эпоху гражданской войны, когда такую роль получают в общественной жизни народные массы, был подготовлен сам Колчак. К сожалению, — хотя не знаю, жалеть ли об этом, — я никогда не имел возможности составить себе мнение о нем по непосредственному личному впечатлению. Если не считать одной, чисто мимолетной встречи, не оставившей во мне никакого следа, я никогда не видел его. Но фактов, характеризующих личность адмирала Колчака и приемы управления, им принятые, прошло через мои руки очень много, и все они, от кого бы я получал, от иностранных ли дипломатов, от русских ли администраторов нередко очень высокого положения, сводились к одному итогу, к признанию, что цензовая Сибирь совершила большую ошибку, вручив свои судьбы такому правителю.

Тогда в Сибири являлось большой модой всячески поносить имя Керенского. Но Колчак являлся совершенно таким же истеричным и безвольным существом; он был положительно тем же Керенским, только с той разницей, что, обладая всеми его недостатками, он не имел ни одного из его достоинств. Сибирь была переполнена в то время рассказами, особенно частыми в среде иностранных дипломатов, о постоянных истериках и нервных припадках, которыми адмирал Колчак то и дело награждал своих министров, а под конец, после падения Омска, и таких людей, как ген. Нокс и ген. Жанен. Ни с теми, ни с другими адмирал во время своих истерик не стеснялся. На приемах он стучал кулаками, кричал: «разогнать», «повесить», если ему кто перечил; временами бывал в состоянии положительно невменяемом; не слушал, что ему говорили даже такие его пестуны, как Нокс и Жанен. После падения Омска, на ст. Тайга, Жанен и Нокс советовали Колчаку сложить с себя звание Верховного правителя и пойти на уступки. Адмирал на это ответил дикой истерикой, доходило до того, что дикий и истеричный крик не удовлетворял уже адмирала, и он начинал бросать во все стороны попадавшиеся ему под руку предметы и производить иного рода неистовства.

На Колчака в Сибири пробовали сначала смотреть, как на спасителя, потому что он военный: цензовые круги пресытились слабостью гражданской власти («керенщина») и хотели, чтобы страной правила твердая бронированная рука. Но и это была ошибка. Адмирал Колчак, правда, был человек военной касты, быть может, хороший командир на судне; быть может, начальник, знающий психологию казармы,

но он вовсе не был правителем, понимающим хотя сколько-нибудь психологию народа и умеющим ориентироваться в его интересах. Его политические взгляды поражали своей анекдотичной наивностью. Революция для Колчака была сплошным дурманом, наваждением, напущенным «сионскими мудрецами». Ни о каких реформах, ни о каких переменах он не желал и слушать. Он признавал систему только чисто военного управления страной, как она намечена была еще старыми полевыми уставами времен царской власти, и ни о каком ином строе он органически не мог себе составить представления. Для него могло еще быть понятным его звание Верховного главнокомандующего, которым он очень гордился, но он совершенно терялся в своих функциях верховного правителя, которые ему казались излишними, ненужной обузой, так как, по его мнению, править страной можно было так же, как командовать армией. И когда ему время от времени пробовали втолковать, что править страной, да еще в революционное время, это не то же, что командовать армией, при том армией старого типа, какую он только и знал; когда его убеждали, что нельзя оставлять без внимания жизни в тылу и что без некоторых хотя бы уступок обойтись нельзя, то он терялся перед лицом таких страшных требований и, теряясь, впадал в истерику, начинал неистовствовать, топтать ногами, кричал, что ему нужны военные припасы, танки, белье для армии, а не совдепы и не парламенты, что опираться он может только на штыки, а все остальное — праздный разговор.

И вот такому человеку пришлось стать лицом к лицу с взбаламученным крестьянским морем, бушевавшим по всему пространству Сибири. В добавок ко всему, крестьян сибирских он не только не знал, а просто никогда их не видал; сам же он для крестьян представлялся, даже по фамилии, иностранцем, не то чехом, не то мадяром, так и фамилию его они произносили не «Колчак», а «Толчак», что уже отмечено в «Партизанах» Всева Иванова². Можно, следовательно, представить себе, какая драма должна была разыграться в сибирских деревнях, когда этот неизвестный чужеземец с столь странной фамилией приступил к разрешению «проблемы о мужике».

С Колчаком, как с своего рода «героем», мы еще долго будем иметь дело. Не важно, что на самом деле в нем не было ничего героического, так как когда в натуре и в характере таких героев не оказывается ничего героического, то все, им недостающее, восполняется легендой или попросту выдумкой, этой страшной силой во время общественной борьбы. И цензовая печать в Сибири усиленно восполняла всевозможными выдумками то, недостающее у Колчака, что мешало ему стать на уровне событий. Того, подлинного Колчака, каким мы его знали и каким он был на деле, она оставляла совершенно в стороне,

с ним она не считалась и на место его рисовала свой образ верховного правителя, далекий от действительности, легендарный, но такой, каким бы она желала его видеть. В результате в ее описаниях Колчак рисовался перед нами рыцарем без страха и упрека; о нем говорили, как о человеке, обладавшем глубоким государственным умом, бескорыстном патриоте, неподкупном страже закона, прогрессивно настроенном друге народа. А главное — и об этом писали особенно много — его считали врагом атаманщины и убежденным противником всех тех жестокостей, насилий и тех зверских репрессий, от которых тогда стонала вся Сибирь.

Адмирал Колчак был врагом такой безрассудной политики, и если она допускалась, то только потому, что, занятый чисто военными делами, он не знал, что творится там в глубине страны его же подчиненными, а когда он об этом узнавал, то немедленно принимал самые строгие меры, чтобы прекратить творящиеся безобразия. Таковы были легенды, создавшиеся около имени Колчака. Что это были легенды, даже отдаленным образом не соответствовавшие истинному, реальному характеру и истинной реальной роли Колчака в истории Сибири, это отчасти мы уже знаем. Но нам необходимо еще раз остановиться на их проверке, так как такая проверка вскроет перед нами некоторые новые стороны в деятельности адмирала Колчака и документально разрешит вопрос не только о его личной ответственности за все, что тогда творилось в Сибири, но и покажет в настоящем свете социальные стимулы его поведения.

